

# ИДЕИ . И ЖИЗНЬ

## Под знаком нашего времени

Когда люди живут на родной землѣ, когда они являются гражданами или подданными какого-либо государства, то, — будь они в самой крайней оппозиціи к его устоям, — они продолжают отвѣчать за него. Имѣть какую-либо вѣру, какое-либо убѣжденіе, какое-либо мнѣніе, будучи внутри нѣкой государственной системы, — это значит нести послѣдствія этого мнѣнія и убѣжденія. Если оно совпадает со мнѣніем власти, — послѣдствія оказываются положительными, — человек достигает общаго признанія, возможности осуществлять себя, выявляться, получать богатство, положеніе и т. д. Если мнѣніе расходится со мнѣніем большинства, то человек несет за это отвѣтственность, против него воздвигаются гоненія, он лишается свободы, жизнь его ломается, он может быть даже уничтожен, — казнен, изведен ссылками и т. д. Такова жизнь всѣх, не покинувших свою родину, связанных с ея исторической судьбой. И будь эта родина Россія, или Германія, или Испанія, или даже Франція, — каждый ся гражданин знает, за что его ждут кары, и каковы эти кары, и за что его ждет общій успѣх и признаніе. При чем это касается не только тѣх его взглядов, которые связаны с политическим режимом данной страны, — это касается его вѣры, его міросозерцанія. Міросозерцаніе становится отвѣтственным. Вѣра может быть исповѣдуема под условіем готовности к мученичеству. Все пріобрѣтает значеніе, все опредѣляет необходимость четкаго и рѣшительнаго выбора. И вмѣстѣ с тѣм на возможность этого выбора оказывается огромное, подчас непреодолимое давленіе. Если у меня к какому-нибудь взгляду лишь неопредѣленная симпатія, то перед лицом всѣх возможных кар за этот взгляд я еще подумаю, стоит ли его особенно открыто исповѣдывать. И лишь при какой-то абсолютной и неотвратимой захваченности какими-либо убѣжденіями, я рѣшусь пойти в защиту их до конца, — до мученій и даже смерти. Из этого вытекает извѣстная осторожность в душах тѣх, кто связан со своим національным организмом, огромная вліяемость каждаго члена этого организма, связанность, зависимость. Не знаю, стоит ли приводить примѣры, — их безконечное множество. Если за участіе в крестном ходѣ можно попасть на Соловки, то человек, может быть и стойкій, воздержится от участія в нем, — просто чтоб не потратить всей своей жизни на крестный ход, а побережет ее для болѣе цѣлесообразнаго мученичества. Перед «гражданами» всякій выбор стоит как нѣкая послѣдняя черта, послѣ которой они начинают нести отвѣтственность всей своей жизнью. И вмѣстѣ с тѣм

«гражданин» всегда не свободен, всегда чувствует на себя всю тяжесть давления власти, общественного мнѣнія, традицій, быта, исторіи своей страны. Все это мы знаем, потому что все это свершалось в наших жизнях, — мы знаем, что в эпоху гражданской войны выбор опредѣлял собой смерть, тюрьму, изгнаніе, полное калѣченіе судьбы. Мы помним, что значило нести отвѣтственность за свои взгляды, мы помним отсутствіе свободы в их исповѣданіи. И еще болѣе мы знаем, что значит исповѣдывать вѣру там, гдѣ она гонима, гдѣ против нея воздвигнута вся мощь государства. Мы знаем, как за крестильный крест на шеѣ людей лишали куска хлѣба, как за книжку религіознаго содержанія ссылали в лагерь и т. д.

И вот мы становимся эмигрантами. Что это значит? В первую очередь это значит свобода. Это значит нѣкое абсолютное выпаденіе из законмѣрности, нѣкое окончательное освобожденіе от всякой внѣшней отвѣтственности, чрезвычайно мучительное и одновременно блаженное пребываніе внѣ вліянія власти, общественного мнѣнія, традицій, быта и исторіи своей страны. Мы как бы теряем вѣсомость, теряем тѣлесность, приобретаем огромную удобоподвижность, легкость, расковываемся, — и ни за что ни перед кѣм не отвѣчаем. Если мы вѣрим, никому до этого нѣтъ дѣла. Если мы не вѣрим, — тоже никому до этого нѣтъ дѣла. Если в области политической мы исповѣдуем тѣ или иные крайніе взгляды, это ни на чем не отражается, — мы даже не можем пассивным участіем в выборах дать один лишній голос тѣм, кому мы сочувствуем. Мы почти что тѣни. Наше собственное общественное мнѣніе не имѣет никакой силы. Может быть никогда и никто не бывает так внѣ всего жизненнаго процесса, как человекъ, потерявшій всѣ свои гражданскія права и обязанности, как человекъ, становящійся в полном смыслѣ безотвѣтственным, как эмигрант. «Гражданин» имѣет возможность осуществлять себя, неся невѣроятные накладные расходы по этому осуществленію, — он все время должен преодолевать тренія, — среды, общественного мнѣнія, традицій. Мы никаких треній преодолевать не должны, мы никаких накладных расходов не несем, но мы почти лишены возможности осуществлять себя, потому что лишены тѣлесности, не имѣем никакой точки приложенія своих сил.

Такова объективная характеристика нашего состоянія. Но помимо необходимости характеризовать его, у нас есть потребность религіозно его осмыслить. В началѣ XIX вѣка существовала цѣлая плеяда соціальных утопистов, мечтавших о созданіи новой жизни на необитаемых островах, построенной на новых и справедливых законах, зарождаемой внѣ старой и несправедливой традиціи. Им не удалось найти необитаемых островов. Нам эти необитаемые острова даны помимо нашей воли в самых центрах міровой исторіи. Мы можем в Парижѣ или Нью-Йоркѣ устраивать свои монархіи или республики, свои общины, свое пустынножителство. Сосѣднему хозяину быстро нѣтъ

дѣла, какой режим царит у нас, и вѣруем ли мы в Бога или поклоняемся протоплазмѣ. Префектура требует от нас какого-то минимума в исправности паспортов, налоговой инспектор собирает налоги, — вот и всѣ наши связи с вѣшним міром. А внутренний, свой, эмигрантский, достаточно безсилен и бездѣлеспен, чтобы активно выявить свое недовольство тѣм или иным направлением в своей собственной средѣ.

К чему же нас призывает наша особая ненормальная жизнь? К чему нас привело уже это полное отсутствіе косности, эта развоплощенность, эта безграничная свобода от всякаго вѣшняго принужденія?

В какой мѣрѣ оказались мы достойны ея? В какой мѣрѣ мы ее творчески осуществили?

Мы дѣти войны и революціи, мы, знающіе силу и закон катастроф, гибели, смерти, мы приобрѣтшіе какую-то страшную мудрость в період нашего крушенія, мы, знающіе непрочность всякаго благополучія и призрачность всякой устроенности, — мы оказались вновь в современном неустроенном мірѣ, ждущем новых катастроф, бредящем грядущими войнами, раздираемом гражданской войной, ждущем небывалых исторических катаклизмов. Казалось бы, что наш горькій опыт должен был бы сдѣлать нас болѣе зрячими, болѣе мудрыми. Мы должны были бы умѣть расцѣнивать по настоящему блага жизни, ея прочность. На самом дѣлѣ мы всѣ в разной степени подчинились взглядам, существующим в окружающей нас средѣ. Если как-то одуматься и приглядѣться к ней внимательно, то всего больше поражает нѣкая психологическая усгойчивость, безпечность, срединность, отсутствіе подлинной взволнованности в ней, утвержденіе маленькаго быта на склонах начинающаго дѣйствовать вулкана. Мнѣ часто вспоминается Пушкинскій «Пир во время чумы». В чем разница того, что он нам рисует, и нашего положенія? Чума, конечно, царствует в нашей жизни. Каждый номер газет говорит нам о новых ея побѣдах. Всѣ ждут, что она может ворваться и в наш дом. Сегодня гаснет одна ея вспышка, чтобы завтра разгорѣться в новом мѣстѣ. В этом смыслѣ разницы нѣтъ. Но разница в том, что мы не пируем, — и окружающая среда тоже не пирует. В напряженіи и взвинченности пира есть какое-то ощущеніе ужаса, какое-то касаніе к послѣдним вещам. Вы чувствуете, что пирующие все время на волоскѣ от подлинной трагической реакціи, что какое-то слово, какой-то жест, какой-то незначительный факт, — и они начнут каяться и бить себя в грудь, и отдавать себя в любви тѣм, кто болѣе несчастен, и примут смерть просвѣтленно и по настоящему. Пир во время чумы иной, чѣм наша жизнь, потому что он болѣе напряжен, и в этой напряженности подлинен. Мы же, — и тут вопрос не в обличеніи и не в критикѣ, а в какой-то безысходной горечи сознанія, что это так, — мы в самом нашем неблагополучіи очень благополучны, мы вѣем гнѣзда на скалѣ, обреченной обвалу, мы подчинили себя духовному мѣщанству, ду-

ховной срединности, теплохладности. Это касается всѣх. Всѣ лишены сейчас подлиннаго религіознаго горѣнья, все тлѣет, все дымит кругом.

Если же мы обратим вниманіе на нашу прицерковную среду, на тѣх, в жизни кого Церковь занимает большое мѣсто, кто опредѣляет себя из своего Православія, то надо признаться, что наблюденія наши не будут особенно радостными. Конечно, в Церкви всегда есть праведники, — есть они у нас. В Церкви есть всегда чистыя и отрѣшенныя души, — и сейчас мы их можем встрѣтить. Но помимо этого есть церковная очень обширная группа, которая воспринимает православіе, как нѣкій атрибут своей принадлежности к старой русской государственности, как нѣкую часть уходящаго быта, как свидѣтельство о политической благонадежности и о политическом правотѣрїи. В какой-то мѣрѣ она является нашим церковным общественным мнѣніем, выдает патент на положенное и запрещенное, выскивает еретиков, мечтает о временах, когда вновь свѣтская власть всей силой своего карающаго и полицейскаго аппарата будет блюсти чистоту Православія, а Церковь своим духовным авторитетом осуждать антигосударственныя направленія.

Эта группа может приносить большой вред, потому что она активна, обличительна и легко клеветет. Но в концѣ концов ея активность вызывает к ней не вражду, а скорѣе жалость. Если бы у нея была почва под ногами, она бы ссылала и вѣшала теперь она только шплется и клеветет. С ней нѣтъ особаго смысла бороться, потому что сама жизнь ведет с ней ежедневную и побѣдоносную борьбу. Самые классическіе образцы ея творчества можно видѣть в безчисленных брошюрах, издававшихся в Бѣлградѣ по поводу церковнаго раскола. Вообще можно утверждать, что, так сказать, полюс притяженія ея взглядов на жизнь находится именно там, хотя к сожалѣнію ея послѣдователи имѣются вездѣ.

В церковной жизни можно найти и иной полюс притяженія для иных сил. Он так же находится во вновь образовавшейся церковной группировкѣ, — так называемой патриаршей цердвѣ, — болѣе может быть изысканной и культурной, чѣм первая. Общи им, — боязнь живого взаимоотношенія с жизнью, преклоненіе перед буквой, возведеніе канонов на уровень богооткровенной истины, вѣра в непогрѣшимость того, что полагается, жажда обличать и выскивать ереси. Но в этой второй группѣ, может быть из-за болѣе интеллигентнаго состава ея членов, гораздо сильнѣе эстетическій момент, начало нѣкоего истерическаго улоенія церковным благолѣпіем. Кромѣ того, в то время, как первая церковная группа насквозь отравлена политикой, вторая в политическом отношеніи очень пестра и неопредѣленна. Она тоже консервативна, тоже блюдет устои, но эти устои нѣсколько иные, чѣм у первой, — она не станет воскрешать синодалнаго періода церкви, она стремится к устоям бо-

лѣе благолѣпным и архаическим. Всякій намек на свободу ей чужд. Если она не захотѣла бы пользоваться мѣрами государственнаго принужденія для вразумленія инакомыслящих, то это только потому, что она надѣется на иной способ вразумленія, — при помощи самую церковью возжигаемых костров, инквизиціи. В ней есть напряженность фанатизма, в ней есть и нѣкоторая доля творчества, но творчество это слѣло к нашей современной жизни, оно какое то комбинаторское, безлюбое творчество.

Если бы вопрос исчерпывался наличием только этих слоев эмиграціи, то вообще о ея судьбѣ не могло бы быть двух мнѣній. Это значило бы, что всей массѣ русских людей, оказавшихся внѣ родной почвы, непосильна тяжелая ноша свободы и безответственности. Свобода спалила их. Пустыня оказалась населенной черною силою, и черная сила поглотила их. Но есть ли в эмиграціи нѣчто иное и каким это иное должно быть? Каким оно должно быть, чтобы эмиграція имѣла внутренній, духовный смысл, чтобы она оправдала себя?

Я не буду утверждать или отрицать наличие этой послѣдней группы. Я ограничусь только характеристикой того, какова она должна была бы быть, хотя думаю, что если бы ее не было, мы давно утратили способность дышать. Во-первых мы должны понять провиденціальныи смысл данной нам свободы. Мы должны принять ее, как тяжелый дар, и не только внѣшне отнестись к ней, но дать ей проникнуть до самых нѣдр нашего духа, в ея свѣтѣ пересмотрѣть и провѣрить всѣ свои обычные и привычные взгляды и устои. Если мы свободны от вліянія государства и власти, то достаточно ли мы освобождены от нами самими создаваемаго капона убѣжденій, обычаев и правил? С самой ранней молодости человекъ постеленно включает в какую-то свою внутреннюю пастольную книгу цѣлыя главы и страницы чужихъ взглядов. Воспринявъ их однажды горячо и ярко, он потом вводит их в нѣкій обязательный список того, что полагается. Взгляды эти мертвѣют, не соответствуютъ данному сосоянію его души, а соответствуютъ чему-то давно ушедшему. Но он их повторяет из года в год, потому что у него не хватает мужества или времени произвести как-бы ревизію своего міросозерцательнаго инвентаря. Он продолжает дѣйствовать не по внутренней потребности, а по безоговорочному довѣрію к своему собственному міросозерцательному прошлому. Все так налажено, все так сжилось, все приняло такія крѣпкія, даже эстетическія формы, что зачастую даже рука не подымается нарушить эту устоявшуюся картину душевнаго міра. Мы прочно застегнуты в свое міросозерцаніе, мы хорошо одѣты, мы просто спеленуты им. И мы правы, когда боимся оказаться в состояніи свободы в этой области. Вѣдь может быть это единственное, что у нас осталось прочнаго. И должна быть какая-то внутренняя катастрофа, какое то послѣднее и глубинное обнищаніе; какое-то стремленіе к самой безопадной честности, чтобы человекъ рѣшился все поставить

под сомніе, отказаться от возможности говорить от Достоевскаго, или Хомякова, или Соловьева, и стал бы говорить только от имени своей совѣсти, от той или иной степени своей любви и своего Боговѣдѣнья. Но как бы ни было трудно сказать обнищавшим людям, — нищайте еще, — таково внутреннее велѣніе данной нам свободы. Все в ея свѣтѣ кажется малым и случайным кромѣ самых страшных вопросов жизни и смерти, Божьей любви и Божьяго вмѣшательства в нашу судьбу. Это первое и главное, — не дать ни трусости, ни своеобразной эстетико-міросозерцательной устроенности затемнить страшное наше стояніе в пустынѣ перед Богом. В этом смыслѣ мы должны эмигрировать и из этого міросозерцательнаго благополучія, мы должны открыть нашу душу всѣм сквознякам и вѣтрам абсолютной внутренней свободы. Таковы, мнѣ кажется, внутренніе пути.

Переходя к их внѣшнему обнаруженію и осуществленію, мы должны в первую очередь понять тайный смысл того факта, что потеряв нашу земную родину, мы не потеряли родины небесной, что с нами, среди нас, находится Церковь, и вся православная Церковь цѣликом, она не дѣлится по частям на какія-то под-церкви. И в Россіи она цѣликом, и в эмиграціи она цѣликом, и в каждом приходѣ цѣликом. И это единственное мѣсто, гдѣ нам еще дано осуществлять себя, и единственная работа, которая, не смотря ни на что, удается.

Посмотрим и на церковное дѣло с точки зрѣнія нашей свободы, которая здѣсь, как нигдѣ, обязывает. Тут мнѣ хочется только оговориться. Не так давно мнѣ пришлось высказываться на эту тему в одном журналѣ. Моя статья вызвала совершенно неожиданный для меня отклик. Самое констатированіе факта нашей необычайной освобожденности по сравненію с положеніем Церкви во всѣ времена ея существованія отчего-то заставил предположить нѣкоторых людей, что я считаю только нашу эмигрантскую церковную жизнь подлинной, а двѣ тысячи лѣтъ церковной исторіи как бы выбрасываю, зачеркиваю, считаю ничѣм. Далѣе из этого дѣлали выводы о том, что я отрицаю праведность и святость в Церкви в період ея государственнаго плѣненія. Трудно опровергать такіе произвольные и ни на чем не обоснованные выводы из точных слов. Тут пожалуй не опровергать надо, а в различных выраженіях повторять одни и тѣ же мысли, чтобы они стали наконец понятными. Церковная исторія всѣх времен содержит страницы, посвященныя подлинной святости. Лишеніе свободы ни в коем случаѣ не умаляет возможности святости, — болѣе того, — может быть именно в періоды максимальнаго лишенія свободы расцвѣтает самая яркая, самая непреложная святость. Это касается эпох гоненій, являющихся и эпохами мученичества. Думаю, что и тяжелый пресс государственнаго насилія в періоды покровительства государственной власти, раздробляя религиозную волю одних, из других создавал подлинных исповѣдников Христовой правды.

Но церковную судьбу можно разсматривать не только с точки зрения роста в ней святости. Так же законна любая точка зрения, выделение любой сферы церковной жизни и освящение любого вида церковного творчества. Можно говорить о Церкви с точки зрения церковного искусства, с точки зрения развития догматов, с точки зрения видоизменения церковного управления и т. д. Так вот совершенно так же законно говорить о церковной жизни с точки зрения свободы ея. И никто, говорящий, что Церковь была несвободна, вовсе тем самым не говорит, что в ней не было святости, или, что она раздиралась ересями, или еще что-либо, кроме одной вещи, — что она не была свободна. И утверждая свободу, мы утверждаем только именно этот факт, — эмигрантская Церковь свободна. А из этого факта наша совесть заставляет делать особые выводы. Потому что наша совесть должна чувствовать себя ответственной за эту свободу, должна оправдать себя, должна честно принять этот великий и тяжелый дар.

Свобода обязывает, свободы вызывает жертвенную отдачу себя, свобода определяет честность и суровость к себе, к своему пути. И мы, если мы хотим быть суровыми и честными, достойными данной нам свободы, то в первую очередь мы должны проверить наше собственное отношение к нашему духовному миру. Мы не имеем права безоговорочно умиляться на все прошлое, — многое из этого прошлого гораздо выше и чище нас, что многое греховно и преступно. К высшему мы должны стремиться, с греховным бороться. Нельзя все стилизовать под некий сладостный звон Московских колоколов, — религия умирает от стилизации. Нельзя культивировать мертвый быт, — только подлинное духовное горение вечно в религиозной жизни. Нельзя замораживать живую душу правилами и уставами, — они были в свое время выражением других живых душ, а новые души требуют соответственного своего выражения. Нельзя воспринимать Церковь, как некое эстетическое совершенство и ограничивать себя эстетическим мленьем, — Богом данная свобода зовет нас к активности и борьбе. И было бы величайшей ложью сказать ищущим душам, — идите в Церковь потому что там вы найдете покой. Правда обратна. Она говорит успокоенным и спящим: идите в Церковь, потому что там вы почувствуете настоящую тревогу о своих грехах, о своей гибели, о грехах и гибели мира, там вы почувствуете неутоляемый голод о Христовой истине, там из теплых вы станете пламенными, из успокоенных, — тревожными, из знающих мудрость века сего, — вы станете безумными во Христа.

К этому безумию во Христа, к этому юродству во Христа зовет нас наша свобода. Свобода призвала нас наперекор всему миру, наперекор не только язычникам, но и многим, именующим себя христианами, строить церковное дело именно так, как его всего труднее строить.

И мы будем юродствовать, потому что мы знаем не только тяжесть этого пути, но и величайшее блаженство чувствовать на своих дѣлах руку Божью.

Монахиня Марія.

## Французская молодежь и проблемы современности

Истекшіе мѣсяцы, столь насыщенные событіями, глубоко всколыхнули французское общественное мнѣніе. Точка зрѣнія обывателя, лѣваго или праваго толка, нам хорошо извѣстна. Большую сложность представляет отношеніе к проблемам современности «третьей силы», т.-е. молодой идейно и духовно настроенной Франціи, о которой мы уже писали в прошлом году<sup>1)</sup>.

Впервые эта молодежь столкнулась с цѣлым рядом новых конкретных, социальных и политических фактов. Она уже не может довольствоваться отвлеченными разсужденіями, а призвана приложить свою идеологию к жизни. Выработанные ею за послѣдніе годы духовные и социальные критеріи нынѣ провѣряются на дѣлѣ.

Наиболѣе смѣло и рѣшительно подошла к вопросам внутренней политики и социальных преобразований Франціи группа «Ордр Нуво». Располагая «твердой», тщательно выработанной идеологіей, которая облеклась в форму настоящей доктрины (федерализм, автономная административная коммуна, ликвидація заработной системы, депролетаризація рабочих, трудовая повинность, и т. д.), «Ордр Нуво» разсматривает французскія внутренне-политическія событія и опыт Блюма под определенным углом. Напомним, что эта группа ищет опоры в живой традиціи французской революціонной мысли (особенно Прудона), которую она противопоставляет «мертвящему» марксизму.

«Правда, — пишут Клод Шеваллэ и Ренэ Дюпуи в коллективной статьѣ, напечатанной в ноябрьском номерѣ 1936 г. журнала «Ордр Нуво», — старый французскій революціонный социализм был часто туманен, утопичен и лишен определеннаго направленія. Он вдохновлялся самыми разнообразными доктринами, слѣдовал за Бабефом, Сэн-Симоном, Бланки, Прудоном. Но он был, по крайней мѣрѣ, живым и человѣчным, глубоко проникнутым сознаніем той цѣности, которую представляют человѣческая воля и человѣческая инициатива. Его защитники не ждали раскрѣпощенія поработеннаго народа от экономической системы, а от собственных дѣйствій». Но появленіе марксизма

<sup>1)</sup> «Новый Град», № 11.